

# «СОВРЕМЕННЫЕ ЗАПИСКИ»

(НОВАЯ КНИЖКА, XXX. Ш. 1927 Г.)

Очертная книжка журнала очень содержательна. Все позволенное материал. Много беллетристики. Есть даже пьеса. Кое-что еще не окончено, как, напр., повесть И. С. Шмелева «История любви», и Ми. О. Сторгина «Сивцев Вражек».

И. А. Бунин в далевенский очерк «старой России» («Объезд в реву»). Рассказ о караульщике Якове, стерегущем при усадьбе саль. Яков любовно выписан, виртуозно отточен, как кукла из кости. Старое письмо... Странно читать эти вещи, словно повесть ведется о далекой стране, о парках с видом в степь, о солонечных усадьбах... Кажется, что все это затонуло, и для нас, поврежденных, рассказы господ, смакующих мужика так, как его смаковал автор «Занисок охотника», — старомодное, барское бабло...

«Мавритания», комедия П. Муратова, — картина московских нравов, тоже до-революционной эпохи. Место действия — Петровский парк. Начало пьесы некоторыми подробностями напоминает прошлые годы до войны убийство Прасоловым своей жены в общем зале «Мавритании». В виде Воротилова «Голубая жемчужина» москвичи узнают даму «Черный лебедь» московского оригинала Р. Дербя, тототнички, жокей Бабейко (такой, кажется, действительно был), хористка, эксцентрик, студенты... Бутфетчик, выразитель начал высшей правды.

Рядом стеклянный «вокаль» ресторана «Мавритания», горящий огнями, гремещий музыкой, «нестройной», по отбитью автора. Вот это — то святишься, то меркнешь стеклянный свод ночного заведения, ристалища безобразий праздных прожигателей жизни, символизирует как бы в представлении автора большую нелюбовь русскую жизнь, над которой уже простерлась карающая Божья десница. Драматическое содержание для такого значительного символа кажется недостаточным, и герои этой простой истории, в конце концов, люди, которых собственно не за что карать...

Статья Н. Лосского «Что не может быть создано эволюцией?» — может показаться несколько отвлеченной для журнала не специально философского, но статью следует рекомендовать вниманию всех вдумчивых в спасительную эволюцию большевизма, в переход его путем «естественного развития» к нормальным общечеловеческим формам государственного строя...

Работа Л. Шестова «Уморзание и апокалипсис» не окончена. Интересна статья П. М. Бицилли — «Фашизм и душа Итальяна».

«Гвоздь» книжки — продолжение неоконченных еще и в ней «Мыслей о России» Федора Степуна.

Есть спорное и сбивчивое, но автор пишет так умно и интересно, что увлекает, даже когда с ним не соглашаешься.

Писать о России — значит писать о переживаемом ею тяжелом недуге. Много недоразумений происходит от того, что путают коммунизм с боль шевизмом. А тут еще тот и другой термины подменяются в случаях надобности марксизмом.

В действительности, коммунизм — наиболее фантастическое направление марксистского социализма. Русский вариант коммунистической идеологии — ленинизм. За такой вариант этой идеологии иногда считают большевизм. Но это неверно! Большевизм — стихия русской души, откликнувшейся в 1917

году на коммунистическую пропаганду Ленина и круг явлений. порожденных этим откликом. Произошла встреча «просвещенно-рационалистической идеологии Карла Маркса с темной матовой народной душой». «Странная встреча, но ведь встретились. Встретились на мосту ленинизма».

Федор Степун находит, что «...большевизм — Россия, — сугубо Россия, ибо большевизм — тяжелейший грех России перед самой собой». «Большевизм не только грех России перед самой собой, он еще и грех социализма перед самим собою».

Для Федора Степуна социализм не столько фундамент для постройки, сколько призма, через которую видны несовершенства капитализма. Остроумны и блестящи, но не вполне убедительны на наш взгляд сопоставления идеологии и идеи, в отступлении от общепринятого понимания.

Требовало бы доказательств и насколько большого развития следующее положение:

В каком то самом существенном смысле слова социализм есть то, что ибьмецкая монархия проиграла войну французской республике, и то, что война не по родила ни одного большого человека, революция же выдвинула таких людей, как Ленин, Муссолини, Пилсудский, и то, что все три диктатора пришли не справа как оно представляло диктаторам, а слева.

Как понимать это — пришли слева, а не справа? Какое это доказательство жизнеспособности социализма?

Ряд любопытных замечаний высказывает Федор Степун о Ленине:

«Он, в сущности, не видел цели революции, а видел всегда только революцию, как цель».

По своему интеллектуальному типу — он старовёр, косный старовёр, окончательно чуждый пророческой тревоги. Он не способен к критическому осуждению вещей... Основным положением марксизма суждено и разбору не подлежит. Это аксиомы.

Какая то начетничная ловкость мысли, производящая впечатление не только ловкости мысли, но уже и ловкости руки. Иными словами, шулерства и нечестности.

Он говорил изумительно убедительно и изумительно бесмысленно.

Такого характера диалектическая способность, как известно, обычна у сумасшедших.

Федор Степун отмечает полную неспособность Ленина к пластической характеристике.

Почти все его характеристики, в конце концов, ничего и ничего не характеризуют — грубая издательская ошибка. С этим непонимаемым чужой правды и полным отсутствием эмоциональной диалектики, связан громадный диапазон злостно-отрицательных оценок, несущий какой то безлично-машинный характер.

Выдернутая мною из мастерского анализа отрывки дают цбый портрет...

К сожалению, недостаток места не позволяет нам подробно разобрать всей, обильной мысли, статьи г. Федора Степуна.

По той же причине приходится лишь вскользь упомянуть об интересной статье г. Марка Вишняка «Миф Октябрь».

Крутым только одну нитку: Кувальшником пунктом большевизма достигая за первое пятилетие властвования, был официально зарегистрирован факт («Красная Газета» от 7-У-22), на юг России, в г. Николаев, людей ловили арканом другие люди, голубящие... Кувальшником пунктом нынешнего пятилетия можно считать ловлю теми же арканом безпринципных дьяволов-звереныш. Их ловят, скручивают и вешают на веревки, чтобы избавить соплеменников и переноса заразы путем «куса» с безпринципного на миллионера, его поймавшего... И это «отступление» остается и в памяти народной, и в летописи истории.

Да, остается и многое еще другое.

Н. Чебышев

Европейская демократия сумела за последние годы наложить печать свою не только на литературу, но живопись и на красноречие, но даже на вышность дужин и женщин. Все читают романы Декобра, все бреют усы и фиксируют смазываю волосы. В печальных и срыхих городах живут печальные, хорошо приращенные люди. Они интересуются скачками, вьзят на море в июль и мысли их неизменно вращаются вокруг высшего скандала, последних выборов, посланных слептен. Они походят друг на друга, как близнецы, они думают и говорят по шпаргалке и ведут себя очень скромно.

Жан-Поль де Фаллуа, вышностью своей отличался резко от всех других.

Он был красив, полон жизни и обаятель.

Его молодое лицо, лицо двадцатилетнего юноши, увенчанное благородно-нужно — сдвиги кудри.

У него были изумительные глаза, глаза «швта пространства».

Он умел говорить со всеми: он всех заговаривал — банкиров, большевиков, правых депутатов, академиков, генералов, венгерских министров, танцовщиц из Гранд Опера и настроенщиков ролей.

У него была репутация «искателя приключений» и к репутации этой дьявол жадно ладил на всякия авантюры дамы, дамочки и дьвухи всех племен, кругов и сословий — американки в очках и вооруженная путешественница, томная и накрашенная маркиза, руския большевички в кожаных куртках и лохматая венгерская студентка.

И еще — где-то в душе этого человека теплилась, кажется, искорка подлинной поэзии.

Мы встретились впервые с де Фаллуа в 1925 г.

Знакомство наше произошло на парижской выставке. Наудал за Снуэ элек трической дождь и неудержимо льзла на небо алая ракета. Мы пили старое бургундское вино и разговаривали о живописи о Шагал, о Жерико. Неожиданно разговор перешел на политику.

— Политика, — сказал де Фаллуа, — скучнейшее из занятий. Мой дядь был депутатом Мэзы в 80-х годах, а мой прадед, при Реставрации, был министром. Друзья нашей семьи трижды предлагали мне выставить кандидатуру в парламент, но я всякий раз отказывался. Все депутаты страдают шизома, рчи свои о бюджете выучивают наизусть и женщины им развывают подшейские. Мне нужна жизнь вольная, широкая. Я долго жил в колониях, где солнце, как пишущая машинка Ундервуда, где голый негрятки рассказы вают чудеснейши сказки песку и знойному ветру. Я был начальником французского гарнизона в мьстечке, где когда-то Рембо торговал слоновой костью и набивал дукатами свой пресловутый пояс. Среди негров сохранился еще воспоминания о поэзии: бабушка моего денщика, старуха с пронависшимися глазами, была когда то наложницей автора «Пьяного Корабля». Старуха эта готовила изумительно вкусныя лепешки с луком и угощала меня редкими напитками. По вечерам мы слушали с ней рев шакалов и глядели на разбухшую от усталости, жары и нужности, огромную, прозрачную и бьлую луну. Это будет поинтереснее ваших парламентов, формул перехода и споров о том, кто пройдет на выборах в Руан? радикал-социалист или социалист — радикал. Политика не совместима с любовью к жизни».

На следующий день, послэ этой астрчи, был у меня разговор со старым русским генералом, которого когда то бьдаль Бонапартис-Керенский смьстил за вьрность царю и который вь своей жалкой парижской лачугэ свято хранил портрет Александра III:

— Как живете, генерал? — спросить я.

— Живу плохо. Впрочем есть надежда на улучшение... Ршшил заняться коммерцией. Покупал грибы у большевиков — жить то вьдэ надо — и перепродал их парижским рестораторам. Посрешилком между мною и торгпредством является ипко де Фаллуа.

— Де Фаллуа, Жан-Поль.

— Да да, Жан-Поль. Только вы, дорогой мой, пожалуйста обь этом никому не рассказывайте.

Свдьния генерала я проверил. Они соответствовали истинь.

Ж.-П. де Фаллуа, бывший французский офицер, потомок блестящих военно-начальников и государственных мужей, аристократ с головами до ног (на ногах его были свьто-желтые башмаки, какого то совьсем особого фасона), человек вь 1914 г. отказавшийся от наследства дяди, старого барина-ворчуна, потому что дядя был гермаофилом, человек, покрывший себя славой на фронтэ, изсьдователь Африки, собиратель старых революверов и поклонник Рембо, Ж.-П. де Фаллуа, поэт и путешественник был агентом совнаркома, работал в Парижэ под руководством товарищи Еланского и Ломовского.

Дьятельность де Фаллуа была разнообразна: он готовил подполь Русско - Азиатский Банк, продавал грибы, покупал оружие для красной армии и скрывал у себя тайных московских агентов.

Человек, питавший непреодолимое отвращение к политике, цьдые дни проводил в обществе шустрых товарищи из Вильны и из Майкопа и толкавал сь ними о необходимости «союз западного пролетариата сь колониальными народами».

Человек, презиравший все низменное и ллейское, был в непосредственном подчинении у советского чиновника Григория Рабиновича, ставленника, и любимца красного вельможи — Солыа.

На улицэ Сань-Флорентенэ, в доме № 12, помьшалось акционерное общество «Садек». Рьяно ухаживали за французскими переписчиками московские комсомольцы, изучал вь передней передовицу «Московских Извьстий» двойник Путилова, М. Н. Миллер, и где-то, за кулисами мелькал итальянец из Одессы, худой юноша сь тусклыми глазами и вьчно грязными ногтями Симон Товбини.

Когда вь Парижэ прьехал Чичерин, де Фаллуа предложил ему учредить франко-советскую газету. Когда вь Парижэ был Луначарский, де Фаллуа водил его в кафе-шантаны и знакомил сь профессорами Сорбонны. Красну он покупал дачи на Лауревом Берегу, а сь Раковским спорил о теориях Фрейда. Московские товарищи смотрели довольно косо на черезчур дьятельного де Фаллуа, но он был им нужен, и они сь ним считались. Вь кулуарах палаты де Фаллуа как-то встрьтил министра иностранных дль Брианэ, сь которым когда то вь юности удиль рыбу на Марнэ. Дьяель огоршил министра предложением:

— Заклучим франко-русский альянс и начнем войну против Англиям до станется Египетэ, а русские прогонят изь Индия лорда Риндита, сь его еврейской свитой. Министр разсьлся до бродушени (Аристидь Брианэ всегда до бродушени), но де Фаллуа побитым себя не счител и еще неоднократно излагал вь письмах кь своему бывшему товарищу самые фантастические проекты.

Роман де Фаллуа сь большевиками продолжался цьлые два года. Благодаря роману на столэ французского дьябли были всегда паюсная икра и превосходная «рыбка», но советские денги упывали медленно, медленно тяли вь

песни головы, — Поверх ступуных плеч».

Тяжкая усталость. Опасна ли? Нет, надо лишь умьт лать себь отьдых. Есть другие, гораздо опаснее. Это другое и раньше проскальзывало у Ходасевича вь его рассказах о себь, но теперь, как будто, на немь ставится новое ударение. Все чаще кажется Ходасевичу, что он уже все узнает, все знает. Стает «всезнающим, как змья». «На трагические разговоры научился молчать и шутить». И даже «каждым огьвтом — желторотым внушает поэтам — отвращение, злобу и страх» (для чего, положим, еще не требуется всезнания змьи).

Не слишком ли подчеркивает Ходасевич:

«Все я знаю, все я вижу...?»

Вывод отсюда еще не дьлает, а выводы есть определенные.

Для человека той трагедии, о которой мы говорим, ить ничего опаснее увьренности во всезнании. Даже мимолетная опущения опасны, увьренность же, отская волю кь дальнейшему узнаванию, кладет тьмь самым предель и «возрастанию вь надеждэ... на что? Да, конечно, на то, что не останется до конца только на пороге, гдэ «бьется человекй гений».

Только на пороге... Впрочем, и оставаться на немь уже не имьет смысла, если твердо знаешь, что все знаешь, что больше и узнавать нечего. Такая увьренность естественно влечет за собою отступление. Отойти — куда

# Почему я никогда не смьюсь

ВОСПОМИНАНИЯ БАСТЕРА КИТОНА

Вьчьемском иллюстрированном журнале «Ди Вайге Вельте» напечатан отрывок изь воспоминаний изьвестного американского кино-артиста, Бастера Китона.

Его фильмы имьют повсюду огромный успех. Он не только превосходный актер, но и замьчательный акробат, и его исключительно данные, особенно цьны для всяких спортивных картин и необычайных приключений, когда нужны физическая крепость, не часто встрьчающаяся даже у самых выдающихся спортсменов.

«Смьяться на сценэ или для экрана очень опасно дьло. Это я замьтил уже вь раннем дьтстве и, поэтому, я никогда не смьюсь, развь что вь частной жизни. И то не часто».

Познакомился я сь этим беспокойным и шумным миром вь бурю и непогоду. Отец и мать мои были тьмь, как называют «бродяжничьими людьми». Они бродили оть ярмарки кь ярмаркэ сь небольшой труппой, забавляя народ своимь веселымь искусством.

5 октября 1895 года они пришли вь г. Пукуа, вь Канзасэ, как раз вь то время, когда циклон тоже льебно постьтил его.

Они разбили палатки и начали готовиться кь представлению. Но циклон думал по своему, а если циклоны начинают думать, они это дьлают сь необычайной силой.

Когда вихрь унесся, у отца оставалось, изь всего его имущества, только четыре артиста и рукописи пьесы, которая находилась вь его карманах. Все остальное пропало. Палатки были унесены за 10 миль.

Отец отправился на небольшую гостиницу, гдэ мы остановились, и тамь узнал, что труппа Китона возросла оть четырех до пяти человекь.

На сценэ появился я. Мои родители были вь восторге. Отец мнь рассказывал вьспьдствии, как онь обраловало моему появлению, сразу рассчитав, что года через два-три, онь перестанет играть собаку вь «Жизни дяди Тома», и передель тьмь мнь. Мать тоже была увьрена, что со временем и постэ достаточных упражнений, я стану первоклассной собакой.

Меня воспитывали, как актера и акробата. Начал воспитание, когда я стал позавать Херри Худини, получивший позже известность вь качестве волшебника, был тогда компаньоном моего отца.

Однажды, когда мнь едва минуло шесть мьсечей, я упал. Но не заплакал, а разсьлся (вь то время я постоянно смьялся), и Худини сказал моему отцу: «что за бастер (что значит, молодца) этоть мальчэ».

— Бастер хорошее имя для него, заявил отец.

Сь тьх порь меня зовут Бастеромь.

пестраемомь шкафу де Фаллуа.

Как-то зимой я зашел кь де Фаллуа на рю Сань-Флорентенэ. Онь встрьтил меня добродушно, угостил асмоловской папиросой и анекдотами о бракэ дочери Красина сь французским дипломатом Бержери. Лицо его, однако, скоро стало сумрачным: дверь вь кабинет открылась, и вь кабинетэ заглянул советский чиновник Рабинович.

— Подумайте только — стал жаловаться де Фаллуа, — жизни мнь не дают эти ваши русские «специалисты». Неграмотный, нерешительный, болтливый и вестп себя не умьет совьсем, мнь, Жану-Полу де Фаллуа, приходится имьеть сь ними дьло, имь подчиняться. Впрочем, не долго теперь: подработаю немного денег, прекращу сь ними дьло и займусь другимь.

— Вы думаете снова вьхать вь Африку?

— О, зачьмь вь Африку. Я принял, конечно, предложение друзей и буду радикальным кандидатом вь Верденэ на ближайшия выборы. Я вижу что вы улыбаются и мысленно называете меня неустойчивьшим иль людей. Поверьте, однако, что и вь политикэ есть своя прелесть, своя поэзия. Что бы вы сказа-

Первую роль поручили мнь, когда я был трехлетьним мальчишкой. Тогда же мнь был преподавателем отцомь вьшительный урок о том, какь важно не смьяться. Произошло это следуюшимь образом. Меня очень забавляла игра отца. Мнь казался, что онь самый веселый человекь вь мьмь, на сценэ и вьнэ ее. Дома онь мало обращал внимания на то, что я всегда смьюсь над нимь. Но во время представлений, дьло обьстояло не такь.

Когда онь находился на сценэ, я такь смьялся, что мьшал смьху зрителей, на которь отець был вь правэ рассчитывать. Онь неоднократно уговаривал меня сохранять серьезный вид, и грозиль наказанием. Я обьщадь стараться и, дьствительно, старался, но ничего не помогало. Отца казался мнь смьшным, а я смьялся, глядя на него. Естественно, что онь на меня сердился.

Однажды, на какой то премьере, я разсьялся такь громко, какь никогда еще не смьялся. Передь началомь второго акта, отець подвел меня кь занавьсу и заставиль черезь дырку вь немь, посмотреть на зрительный зал. Онь указал мнь на необычайно полного господина сь громаднымь бьлым жилетомь, сидьвшего вь ложэ.

— Если ты сегодня еще разь засмьешься, я схвачу тебя и брошу на жилетэ этого господина.

Представление продолжалось, и я снова засмьялся. Отець подошел ко мнь, схватил и бросил вь ложу. Какь мячэ пролетелся я по воздуху, прямо на жилетэ полного господина. Но не ушибся, быстро вскочил на ноги и убьжался.

Этоть урок не прошел даромь. Я его никогда не забывал. Сь той порь больше не смьялся на сценэ или передь съемочнымь аппаратомь.

За мою жизнь актера, у меня было достаточно несчастных случаев, которые, сь своей стороны, тоже отучили меня оть смьха. У меня переломами почти все кости, но, по странной случайности, это имь никогда не повредило.

Во время съемокь «Матросаз», я чуть, было, не утонул. Когда ставилась моя последняя фильма «Студентэ», я повредил ногу при прыжкэ, а сцена, вь которой я проламывал дно лодки и проваливался вь воду, была, дьствительно, несчастнымь случаемь, котораго авторь не предвидьл.

Я разговаривал о чемь то сь операторомь, потомь прыгнул вь лодку, провалился сквозь дно и вынырнул изь-подь ледя. Это, оказалось, настолько смьшнымь, что было повторено для съемки.

Теперь ставится новая фильма «Пароход Билла». Во время съемокь, меня чуть не задалблило при столкновении двух кораблей. Что удивительного, вь томь, что я никогда не смьюсь!

ли, например, о министерствэ де Фаллуа?

Вь дверь постучали.

Вошел старьй француз и положил на столэ пачку старых гравюр.

Де Фаллуа занялся разсмотрьм гравюр, на время забывь о политикэ, и вступил вь ожесточенный спор сь посьтителемь.

Это была наша последняя встрьча.

Самый грузинский и самый добросовьстный изь всехь российских стихотворцев, Н. А. Некрасов, когда то сказал:

Поэтомь можешь ты не быть, Но гражданномь быть обязань.

Де Фаллуа был поэтомь, или по крайней мьрэ старался имь быть. Кь «гражданномь» онь относился сь глубокимь презрениемь.

«Граждане» посадили его вь тюремную рьшетку. «Граждане» изьдали «поза» изь обращения за фабрикацию фальшивых венгерских ассигнаций.

Опасно вь наше время предпочитать авантюры ежедневному фильтону К. Вольте и еженедельному кино-сеансу!

Макс Фалькс.

«пость», кто меньше (какой праздный вопрос!). Я просто отвечаю, что Блок «оборотитель», Ходасевич — ить. Один критик, сказал мнь недавно: «по Ходасевичу, какь по секундной стрьлке, можно видеть движение времени — оть Блока — впереть. Блок уже не современец; Блок изьтл еще по железной дороге; у Ходасевича и автомобили, и ть крылатые; даже крылья у нихь, — развь не важно? — у одного бьбли, у другого черныя».

Да, это правда. Ходасевич весь принадлежит сегодняшнему дню, Блок — вчерашнему. Трагедия Блока — не то, что менее глубока; но, при всехь «несказанностяхь», ее «механика» какь то проще. Сложнейшая трагедия внутреннего распада и постоянного мучительная борьба сь этимь распадомь — воистину трагедия нашего часа.

Ходасевич современец; но какь раз потому, что современец — есть вь немь и какая-то «незамысленность». И то сказать: ить неидеистичны минуты нашего часа не сложны вьнхь, кристаллов. Ходасевич, вьротно, знает (или чувствует), что кь понятию «бытие» не приложимо слово «было», а только «есть». «Закрой глаза и падай, падай... вь самого себя».

Замр — или умри отсюда, Вь давно забытое рожденье.

То же самое, но еще крьиче, еще отчетливь вь изумительномь стихотворении «Обезьяна». Онь заглянул вь глаза, братски пожат маленькую черную руку и —

Глубокой древности сладчайшия преданья

Тоть нищий зьбрь мнь вь сердце оживил

И вь этоть мигь мнь жизнь явилась полной,

И мнилось — хорь свьтил и вошь морскихь

Вьтровь и сферь мнь музыкой органной

Ворвался вь уши, загретьмь, какь прежде,

Вь нине, незапамятные, дни...

Это касанье кь «нимьм дьямь», — незапамятность, — безмьрно усложняет трагедию; и какь расширять ее течение!

Разрьшила ли эта трагедия?

Пустой вопрос. Мы знаем лишь одно: она или разрьшается — или не разрьшается — всякимь человекьм, всякимь отьбьтымь «Я»; и это вь соотвьтствии сь волей, силой и даже самокьянью каждого «Я». Разрьшение — конечно, есть шаг, пошлага, или хоть брошенный незабываемо взорь за тоть порог, на которомь

Все бьется человекй гений...

Кому лано преодолеть порогь, тоть оть него уже не отступается. Вьрный, онь приметь и мучительную муку, и невыносимость бытия; и будеть «возрастать вь надеждэ» и познания. Только по вьрности, по неотступности, мы и судим... ить, догадываемся; ему, пожалуй, и дано разрьшить трагедию; его «Я» — крьлка крьсла.

Но вьд и «я», чужое, для нась за потаенной дверью. Не ко всякой есть ключь. Ходасевич даль ключь кь сво-

ей. Мы заглянули, — бьгло, поспьшно, развь мы умьемь какь следуеть смотреть? Кое-что увидели: трагедию увидьл; можеть быть, коснулись чуть-чуть и ткань этого единственного (какь и всякое другое) «Я». Книга открываеть намь Ходасевича и его трагедию не вь неподвижной точкэ, а вь линиэ, вь движении, — во времени. Что же сказать? О чемь догадаться?

Невыносимость бытия вь сложнотрагическомь клубкэ — вещь серьезная, даже если посланы такя крылья, какь дарь стиховь:

Все бьется человекй гений

То вверхь, то внизь. И то сказать

Оть восхождений и падений

Ужь позволительно устать.

Позвоительно или ить — другой вопрос. Но Ходасевич устал. Вь кругэ этой усталости многое начинает мьнать ликь. Цьловать руки самому себь — своей Пенхэ? Нет, «тяжко, больно жить душой, — который раз?» «Нужная ненависть и мучительная любовь» какь будто тихо претворяются, или растворяются, — вь презренье. «Смотрю вь окно — и презираю...». Если смотреть вь окно, — на мирь — усталыми глазами, мирь того и стоит:

Все высистано, прособачено,

Воть такь и шлепай по грязи...

Далье, презренье естественно рожденья, — злость: «и злость, и скрьбь моя кипить»... Наконець прямо скрежеть зубовой: «Опустошенные, — На перекрестки тьмы, — Какь вьдалью потрое, — Тогда выходимь мы. — Нечеловьчий дух, — Нечеловьчий рьчь, — И

песни головы, — Поверх ступуных плеч».

Тяжкая усталость. Опасна ли? Нет, надо лишь умьт лать себь отьдых. Есть другие, гораздо опаснее. Это другое и раньше проскальзывало у Ходасевича вь его рассказах о себь, но теперь, как будто, на немь ставится новое ударение. Все чаще кажется Ходасевичу, что он уже все узнает, все знает. Стает «всезнающим, какь змья». «На трагические разговоры научился молчать и шутить». И даже «каждым огьвтом — желторотым внушает поэтам — отвращение, злобу и страх» (для чего, положим, еще не требуется всезнания змьи).

Не слишком ли подчеркивает Ходасевич:

«Все я знаю, все я вижу...?»

Вывод отсюда еще не дьлает, а выводы есть определенные.

Для человека той трагедии, о которой мы говорим, ить ничего опаснее увьренности во всезнании. Даже мимолетная опущения опасны, увьренность же, отская волю кь дальнейшему узнаванию, кладет тьмь самым предель и «возрастанию вь надеждэ... на что? Да, конечно, на то, что не останется до конца только на пороге, гдэ «бьется человекй гений».

Только на пороге... Впрочем, и оставаться на немь уже не имьет смысла, если твердо знаешь, что все знаешь, что больше и узнавать нечего. Такая увьренность естественно влечет за собою отступление. Отойти — куда

нибудь; можно вь смерть, можно и вь «предсмерть», — то есть играть вь карты, пить вино вь «высистанномь и прособаченномь» мирэ, уже не стремиться «вь излобленную бурю». Зачьмь? И какая буря?

Трагедия падает, медлительно сходит на ить. Не совьсем на ить: вь глубинь человекьского «Я» оть нея что то остается. Кто «лететь вь излобленную бурю», тоть ужь никогда не станеть совершеннымь побитымь и летаншикь. Отвращение, презренье, летота, — воть что остается вь сердце, когда-то бьшемся на завьтномь пороге. Не новая ли это невыносимость бытия?

Всегда вь тьспотэ и всегда вь темнотэ

Вь такой темнотэ и вь такой тьспотэ...

Намьчаю опасную линию нарочно всю, до конца. Скажу прямо: вь Ходасевичэ, по рассказу его о себь, есть точка, оть которой эта линия можеть пойти. Но можеть и не пойти. Такь ли ужь онь знает, что все знает?

Вь страшною и благородьтельномь дарэ Ходасевича открывается намь порою и то, чего самь онь не думаль открыть, рассказывая «Про себэ»:

«Нть, есть во мнь прекрасное...»

«...Взгляни, мой друг: по травкэ полететь паукь сь отьмьтой крестовидной...»

И онь бьжит оть гньва твоего, Стыдясь себя, не вьдая того.

Что значить знать спины его мохнатой...

Не вьдая, не зная... Воть оно, — и какое важное! — чего Ходасевич не знает, а главное, самь знает, что не знает: вьдэ рассказывать онь это «Про себэ»...

Очень строги требования, сь которыми подходить Владислав Ходасевич ко всему и ко всемь. Онь имьет на тьре богатейность право? Если такь, и мы вьправь обратиться сь прямымь требованиемь кь этому сердцу, что «бьется на пороге»?

Перешагни, перешагни, Перелети, пере — что хочешь, Но вырвись: камнемь изь пращи, Звьздой, сорвавшись вь ноци... чтобы узать хотя бы то, «что значить знает», котораго не знаешь...

Пусть люди «поэтически» — только — поэтически — настроены не стьтують на мой не слишкомь «естествоворный» подход кь стихамь, — книгэ Ходасевича. Книга эта тьмь и примьчательна, что можеть оказаться нужной при всякимь настроениихь. Любители чистой поэзии найдуть вь ней рядь первоклассных поэтических произведений. Захочется кому-нибудь изьменить подгубоче, на то, что скьзавь поэзию свьтится, — найдеть и онь, можеть быть, даже больше, чьмь ожидаеть.

Развь только барышнямь, жаждущимь «обворотительности», книга Ходасевича не покажется достаточно «чарующей»; ну, и Богь, сь ними, сь барышнями.

Авторь Крайний